

Николай Михайловский

**«Рассказы» Леонида Андреева.
Страх жизни и
страх смерти**



Николай Константинович Михайловский

«Рассказы» Леонида Андреева.

Страх жизни и страх смерти

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2447515

Н. К. Михайловский. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

«Существует мнение – мне не раз приходилось выслушивать его от заинтересованных людей, – будто в редакциях журналов не читают рукописей неизвестных авторов, будто нужна „протекция“, чтобы статья была напечатана или даже только прочитана, будто вообще печатаются только произведения личных знакомых и „знаменитостей“. Это одно из самых неосновательных представлений о редакционных порядках...»

Николай Константинович Михайловский «Рассказы» Леонида Андреева. Страх жизни и страх смерти

Существует мнение – мне не раз приходилось выслушивать его от заинтересованных людей, – будто в редакциях журналов не читают рукописей неизвестных авторов, будто нужна «протекция», чтобы статья была напечатана или даже только прочитана, будто вообще печатаются только произведения личных знакомых и «знаменитостей». Это одно из самых неосновательных представлений о редакционных порядках. И не только неосновательно это представление, а и обидно. Члены редакций тратят добрую половину своего рабочего времени на закулисный, невидный публике труд чтения сотен и сотен рукописей, доставляемых им, – и про них же складывается такая нелепая легенда! Нелепа она и в прямом, так сказать, ремесленном смысле, ибо увы! «знаменитостей» у нас слишком мало, чтобы какая-нибудь редакция могла спокойно расположиться на их плечах, а ведь материал-то для выпуска журнальной книжки в срок нужен. Но этого мало. Помимо всяких практических соображений ре-

дактор, именно потому, что ему приходится читать вороха подчас не только бездарных, а и безграмотных произведений, с особенною жадностью ищет в этой куче хоть проблеска таланта, хоть чего-нибудь, над чем бы могла отдохнуть его утомленная мысль и оскорбленное эстетическое чувство. О, конечно, редакторы могут ошибаться и неверно оценивать доставляемые им произведения, и это соображение может служить достаточным утешением для авторов непринятых произведений; а легенду о каком-то пренебрежении к новичкам, «неизвестным», «начинающим», следует бросить как совершенно нелепую...

В людях, обреченных на невидный и неблагодарный труд чтения не того, что им хочется читать, а того, что они должны читать по обязанности, вырабатывается даже несколько злобное нетерпение: дескать, доберусь же я наконец до чего-нибудь настоящего, свежего, есть же они где-нибудь, эти таланты, а если нет сейчас, то объявятся завтра, послезавтра. И велика же бывает радость, когда наконец и в самом деле судьба пошлет что-нибудь оригинальное и сколько-нибудь значительное. Мне еще недавно пришлось напомнить читателям { *Мне еще недавно пришлось напомнить читателям...* – См.: Рус. богатство. 1901. № 10. } о том восторге, которым Некрасов, Григорович и Белинский встретили «Бедных людей» Достоевского. Это история типическая, только расцвеченная особенностями возраста и темперамента действующих лиц.

И то же радостное чувство охватывает нашего брата, занимающего скромное, но ответственное положение сторожа при храме литературы, когда мы наталкиваемся на что-нибудь оригинальное и значительное не в рукописи, не для нашего журнала предназначенное, а уже напечатанное, в особенности когда автор принадлежит к числу «неизвестных», «начинающих». Конечно, всякий читатель встречает новый талант с удовольствием, но для нас яркость этого нового таланта особенно выделяется среди той неизвестной публике массы посредственных, бездарных и, наконец, безграмотных писаний, которую мы преодолеваем по обязанности. Мы способны даже преувеличить размеры и значение нового явления на литературном горизонте и были бы еще более склонны к подобным преувеличениям, если бы не воспитанный горьким опытом скептицизм: да, это хорошо, но будет ли эта искра разгораться и светить и греть, или завтра же потухнет, или занесет автора в те мрачные дебри, где «леший бродит» и где не нужно, да и невозможно никакое освещение? Все ведь это бывало...

И все это я пишу под свежим впечатлением только что прочитанного небольшого сборника «Рассказов» г. Леонида Андреева {Имеется в виду первое издание «Рассказов» Л. Андреева, вышедшее в Петербурге в 1901 г.} – писателя, до тех пор мне совершенно неизвестного и во всяком случае «начинающего».

Форма небольших рассказов ныне в большой моде. Не

проходит месяца, чтобы на книжном рынке не появилось несколько томиков «Рассказов», «Очерков и рассказов», «Маленьких рассказов», «Печальных рассказов», «Веселых рассказов» и т. п. В огромном большинстве случаев все это не возвышается над уровнем посредственности. Но самая форма, признанная, по-видимому, заменить собою старый роман, конечно, вполне законна. Жалко немножко широких рамок романа, в которых могла так всесторонне отражаться жизнь, преломляясь в индивидуальности автора. Однако и в этом отношении дело «рассказов» не так уж плохо, как может показаться с первого взгляда. Мопассан и в маленьких своих рассказах, не связанных единством фабулы, умел отражать жизнь с разных сторон, накладывая на каждую картинку печать своей индивидуальности, своей «самости». А беда наших многочисленных творцов «маленьких рассказов», «сереньких рассказов» и т. п. состоит именно в том, что они не «сами». Они не имеют определенного «своего» угла зрения на те разрозненные явления жизни, которые совершенно случайно подвертываются под их перо. Только очень большой талант может при таких условиях выручить своею стихийною силою, но очень большой талант составляет и очень большую редкость. Немудрено поэтому, что появляющиеся на нашем книжном рынке бесчисленные сборники рассказов и очерков отличаются чрезвычайною тусклостью во всех отношениях – начиная с тусклости языка, хотя бы и насыщенного разными словоизлитиями, и кончая туск-

лостью содержания, хотя бы и переполненного кричащими эффектами.

Сборник рассказов г. Леонида Андреева резко выделяется из этой тусклой, серой массы. Их всего десять, этих рассказов (уже после выхода сборника я прочитал в «Журнале для всех» еще два рассказа – «Кусака» и «Случай»). Но, несмотря на это, вы ясно видите если не все черты и подробности физиономии автора, то по крайней мере несомненную оригинальность этой физиономии. Настоящую, подлинную оригинальность, а не подделку под нее, не ломающееся оригинальничанье, которого ныне развелось так много. Может быть – от слова не станется! – оригинальность г. Андреева, находящегося еще в начале пути, приведет его в конце концов в места не совсем здоровые, но можно, кажется, поручиться, что и в этом печальном случае он будет «сам». В нем находят нечто общее с Эдгаром По { *В нем находят нечто общее с Эдгаром По.* – Об этом писал В. Ф. Боцяновский в журнале «Литературный вестник» (1901. № 8). }. Это до известной степени верно, но огромная разница в том, что, за одним всего исключением (о нем потом), в рассказах г. Андреева нет ничего «необыкновенного», «странного», фантастического, таинственного. Все простые житейские случаи, даже тогда, когда в основе рассказа лежит тайна, как в рассказах «Молчание» и «В темную даль». Здесь автор как бы закрывает половину своей картины, оставляя в неизвестности причины упорного «молчания» и самоубийства молодой

девушки и удаления «в темную даль» молодого человека. Но ничего по существу таинственного здесь нет; этим приемом лишь выдвигаются на первый план душевные муки третьих лиц – родителей погибшей девушки и родственников неизвестно куда удалившегося молодого человека.

Творчество г. Андреева неровное. У него есть рассказы истинно превосходные, в которых ни прибавить, ни убавить, ни передвинуть ничего нельзя («Жили-были»), но есть и растянутые («Рассказ о Сергее Петровиче»). Не удаются ему дети («Ангелочек», «Валя»). Но, повторяю, везде и всегда он – «сам»; не только в смысле отсутствия подражательности в содержании и форме изложения, а и в смысле отсутствия той распушенности, которая побуждает большинство авторов «рассказов» плавать «без кормила и весла» по безграничному и бесконечно разнообразному морю жизни. У г. Андреева есть то, что можно назвать центром внимания, – дар высокой цены, если лучи, исходящие из этого центра, захватывают жизнь вширь и вглубь...

Невеселы рассказы г. Андреева. К смеху он совсем не склонен. Легкая улыбка – дальше он не идет в этом направлении, хотя некоторые из его сюжетов допускают и иную обработку, иной подход к ним. Читая его книгу, я уже с внешней стороны был поражен тем, как часто встречаются в ней слова и целые речения, выражающие страх или отсутствие страха. Не то чтобы его тянуло рассказать непременно «страшные» истории – мы сейчас заглянем в одну историю, в которой нет

ничего страшного и которая в другом освещении могла бы быть забавною, но и в ней страх играет важную роль. Просто страх, ужас и факты преодолевания страха, сознательно или бессознательно, привлекают к себе его внимание, и, вероятно, именно этим он напоминает некоторым читателям Эдгара По. Может показаться, что эта тема до такой степени узка, что на ней мудрено построить целую серию рассказов. Но это зависит от того, как отнестись к теме, и я думаю, что с той точки зрения, на которой – повторяю, сознательно или бессознательно – стоит г. Андреев, это тема неисчерпаемая в своих комбинациях.

Смерть часто «косит жатву жизни» в рассказах г. Андреева («Большой шлем», «Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче», «На реке», «Жили-были»), а смерть – страшная штука. Но и жизнь бывает страшной штукой, как видно уже из того, что люди добровольно иногда меняют жизнь на смерть («Молчание», «Рассказ о Сергее Петровиче»). Страх смерти, страх жизни – уже эти две, грубо, так сказать, топором намеченные рубрики открывают обширные и разнообразные перспективы для поэтического творчества, а ведь есть и гораздо более тонкие оттенки. Мы увидим ниже, как у г. Андреева умирают люди, что они думают и чувствуют, приближаясь к той неизбежной точке, которую обрывают свою собственную работу, – по выражению нашего автора, «равнодушная слепая сила, вызвавшая нас из темных недр небытия» {... «равнодушная слепая сила, вызвавшая нас

из темных недр небытия» – неточная цитата из «Рассказа о Сергее Петровиче» Л. Андреева.}. Сначала посмотрим, как люди жизни боятся.

Под заглавием «У окна» рассказывается история молодого мелкого чиновника Андрея Николаевича. В разговоре с некоей девицей Наташей он называет себя коллежским секретарем, но или это опечатка, или Андрей Николаевич хвастает. Чин на нем должен быть гораздо меньше: образование его ограничивается двумя классами реального училища, служебные обязанности состоят в переписке бумаг, товарищи прозвали его «Сусли-Мысли», а фамилия известна казначею, да и сам он в письме к той же девице Наташе называет себя чиновником «тринадцатого» класса {По введенной Петром I Табели о рангах все должности в армии, флоте и гражданском аппарате подразделялись на 14 рангов (классов)}. Как бы то ни было, этот мизинный человек доволен своим положением, он по-своему хорошо, спокойно устроился у себя в комнате и в своей канцелярии. Вся сутолока жизни, весь ее шум, все ее тревоги идут мимо него, ему нет никакого дела до других людей с их скорбями и радостями, да им до него тоже дела нет. Но, говорит автор, «в созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживается от жизни, есть одно слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены,

снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко». Главное – жутко, страшно. Конечно, такой страх наводят на Андрея Николаевича не всякие мысли – он ими вообще не богат, – а те, которые в форме воспоминаний или предположений делают его участником жизни, ставят в ее шумный и вообще беспокойный и именно поэтому страшный водоворот.

Как раз против окна комнатки, которую Андрей Николаевич нанимал у пьяного пекаря, стоял красивый дом-особняк с зеркальными стеклами, загороженными тропическими растениями, вычурным фасадом и пр. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и представлять себе, как живут его обитатели и какое там множество всяких не виданных им роскошных вещей. Он знал в лицо и великолепного владельца дома, и его великолепную супругу, и ребенка, и кучера, и горничную. Наблюдения над домом и его обитателями наводили его на различные мысли. Так, при виде семилетнего сына владельцев дома, который с необыкновенной важностью позволял горничной усаживать себя в пролетку, Андрей Николаевич «искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонями на плечах, рождаются тем же простым способом, как и другие дети? Все подобные мысли не были, однако, отравлены ни единой каплей зависти, прискорбных или негодующих сравнений своего ми-

зинного существования с этим блеском и роскошью. Андрей Николаевич был бесповоротно доволен своею тихою и незаметною жизнью или своим „отсиживанием от жизни“. Но вот ему приходит в голову мысль, „что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены, и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему и не заговорит с ним и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илистом дне глубокого моря, и тяжелая темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посредине, словно на площади, по которой он так не любит ходить“».

Казалось бы, у такого человека могут быть страшные предположения и предвидения, но не может быть страшных воспоминаний, если только какой-нибудь трагический случай не разрезал его жизни пополам и не заставил его, как улитку, войти в свою раковину лишь во вторую половину

своего существования. Такого трагического случая в жизни Андрея Николаевича, по-видимому, не было, он всегда быстро прятался в раковину при приближении опасности, а потому и должен бы быть гарантирован от нее. Но, по пословице «Резвый сам набежит, а на тихого бог нанесет», у Андрея Николаевича страшные воспоминания есть. Так, он с ужасом переживает мысль одно свое столкновение с начальством, столкновение, в котором он виноват только своим служебным усердием и которое, в его понимании, окончилось благополучно именно потому, что он, только что повышенный по службе, был, благодаря этому столкновению, возвращен в свое тихое, спокойное, безответственное писарское состояние. Но гораздо интереснее другое страшное событие в жизни Андрея Николаевича. У него был роман... Роман этот тоже кончился благополучно, в его вкусе благополучно, то есть ничего из него не вышло. Но и теперь, увидав на улице предмет своей бывшей любви – «вот баба-то! – ужаснулся Андрей Николаевич. – И слава богу, что я на ней не женился...»

Любовь окрыляет, поднимает тонус жизни. Даже птицы, гады, рыбы наряжаются в пору любви в яркие одежды и вооружаются разными воинственными приспособлениями. Как же это с нашим Андреем Николаевичем случилось? Это чрезвычайно любопытная история, богатая не столько внешними фактами, сколько душевными тревогами героя.

Первая встреча произошла на какой-то вечеринке. Наташа, по ремеслу папирсница, была красивая девушка, и люб-

ви ее многие добивались, в том числе некий Гусаренок, удалой и пьяный мастеровой. Наташа сама под села к Андрею Николаевичу, заговорила с ним. Гусаренку это не понравилось, и девушка сочла нужным предупредить нашего героя, чтобы он остерегался забубённого мастерового: побьет. «Не смеет, я чиновник», – возразил Андрей Николаевич, и, действительно, нисколько не боялся. Он много и очень развязно разговаривал. «Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или оставаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам. Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но когда за перегородкой у хозяйки он услышал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит „ура!“. Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса».

Через два месяца они поцеловались и говорили друг другу ласковые слова, но из этого все-таки ничего не вышло. Ко-

гда «Сусли-Мысли» был возле Наташи, женитьба улыбалась ему, его захватывал тот инстинкт, который и птицу, и гада, и рыбу осмеляет, но в отсутствие девушки его брал ужас перед бесчисленными трудностями этого дела: надо к попу идти, шаферов искать, а они еще, пожалуй, не явятся вовремя, за ними ехать надо будет, потом в церковь ехать, а она вдруг заперта и сторож ключ потерял, потом квартиру нанимать, потом дети пойдут, и вдруг двойни... И пока он так «суслил-мыслил», Наташе надоело ждать и она вышла за Гусаренка. Андрей Николаевич почувствовал некоторую обиду, но и облегчение: чаша, полная беспокойств и волнений, миновала его... Так и доживает «Сусли-Мысли» свой век «у окна», тихо, спокойно, лишь изредка содрогаясь при воспоминании о тех страшных опасностях, которых он благополучно избежал, или при предвидении не менее страшных комбинаций обстоятельств, которых, впрочем – он наверное знает – никогда для него в действительности не наступит... Из других черточек, дополняющих образ Андрея Николаевича, отметим только одну еще: «Другие (чиновники) вон и благодарность принимают, а я не могу», – с гордостью заявляет он Наташе и прибавляет: «еще попадешься, грешным делом»...

«Рассказ о Сергее Петровиче» рисует нам фигуру в некоторых отношениях совершенно противоположную Андрею Николаевичу. Сергей Петрович – студент, бедный, некрасивый, ограниченный, бездарный, робкий, не способный ни к напряженной мысли, ни к сильному чувству, словом, во всех

отношениях обделенный судьбою. Андрей Николаевич тоже не из богато одаренных, но он счастлив в своей раковине, где его только изредка навещают беспокойные думы о том, как страшно жить шумною жизнью или жениться, и очень доволен собой. Сергей Петрович, наоборот, вполне сознает свое круглое ничтожество и вместе с тем любит мечтать о каком-нибудь перевороте, который внезапно сделает из него красавца, умницу, богача. Любимым его чтением были «80 000 верст под водою» Жюль Верна и «Один в поле не воин» Шпильгагена, в которых он восторгается гордыми героическими личностями капитана Немо и Лео. В последнее время он увлекся еще «Заратустрой» Ницше, где его особенно поразила идея сверхчеловека – того, кто «полноправно владеет силою, счастьем и свободой» (всей книги он, впрочем, не дочитал). «Заратустра» был для него кнутом, который было заставил его выпрямиться, но в конце концов он, постоянно сравнивая свою серость с ярким блеском сверхчеловека, остановился на следующем изречении Заратустры: «Если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твое сердце, знай, что удастся смерть». Он решил умереть. И когда он ощутил в себе спокойную готовность умереть – впервые за всю жизнь он испытал глубокую и горделивую радость раба, ломающего свои оковы. «„Я не трус“, – сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя и с гордостью принял». Накануне назначенного дня он испугался мысли о смерти, но скоро устыдился. «Страх исчез,

но жгучий стыд медлил уходить, и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной цепи раба. Равнодушная, слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки, как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей». А затем Сергей Петрович отравился...

«Большой шлем». Трое мужчин и одна дама аккуратно три раза в неделю собирались для игры в винт, размещаясь за столом постоянно в одном и том же порядке, так что партнеры не менялись. Замечу, что «Большой шлем» по тонкости отделки один из лучших рассказов в сборнике г. Андреева, но нас будут интересовать здесь только два игрока: Николай Дмитриевич, игравший с некоторою страстностью и тщетно мечтавший о «большом шлеме», и его неизменный партнер, методический Яков Иванович, никогда не игравший больше четырех. Вообще Николаю Дмитриевичу не везло. Но вот однажды ему повалила карта и наконец пришла такая, что если в прикупке попадетя пиковый туз, то «большой шлем» готов. «Николай Дмитриевич протянул руку за прикупком, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым ча-

ем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку». Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, что, может быть, было результатом волнения, вызванного возможностью осуществления мечты о «большом шлеме». Но это была только возможность, прикупки своей Николай Дмитриевич не успел вскрыть; за него это сделал его неизменный партнер, Яков Иванович...

«Одно соображение, ужасное по своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

– Но ведь он никогда не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени ужасно, бессмысленно и непоправимо. Никогда не узнает. Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты – Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, – „шлем“, а теперь все кончилось, и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ко-гда, – медленно, по слогам произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет

СМЫСЛ.

Такое слово существовало и имело смысл, но оно было до того чудовищно и горько, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним, и со всеми. Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами и брал взятки одну за другой, пока не собрал их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич не узнает».

Яков Иванович с ужасом думает и о покойнике, и о том, что и ему, Якову Ивановичу, и «всем» предстоит смерть, но – любопытная черта – это не мешает ему доигрывать игру Николая Дмитриевича, жизнь продолжает пряхть свою нитку даже в минуту особенно ясной мысли о неизбежности смерти. Жизнь хочет во что бы то ни стало, хотя, казалось бы, если смерть так страшна, то и жизнь страшна, уже просто потому, что она должна кончиться. Но мы знаем, что и помимо того жизнь бывает страшна – не только для ничтожного и смешного Сусли-Мысли, но и для ничтожного же, но не смешного, потому что сознавшего при холодном свете идеи сверхчеловека свое ничтожество Сергея Петровича, и для унесшей с собой в могилу тайну «молчания» молодой девушки. Далее, Николай Дмитриевич умер, не узнав, что к нему пришел «большой шлем», о котором он давно мечтал,

и, собственно, это-то и внушает Якову Ивановичу скорбь. Ну, а если бы Николай Дмитриевич умер, не узнав о чем-нибудь тяжелом, неприятном, оскорбительном, – о своем разорении, о подлом коварстве друга, о смерти сына, об измене любимой женщины и т. п.? Скорбел ли бы тогда об его участии Яков Иванович? И потом: Яков Иванович печалует-ся за «всех», и это понятно в такой неопределенности. Но кто же может по совести сказать, что он никогда и никому не желал смерти и не думал о ней отнюдь не с печалью? Оставим убийц из мести, зависти, корысти; оставим наследников, с жадным нетерпением прислушивающихся к предсмертному хрипению стариков; оставим чиновный люд, ожидающий очищения вакансии, и проч. Припомним только одно из стихотворений Добролюбова:

Печальный вестник смерти новой,
В газетах черный ободок
Не будит горести суровой
В душе, исполненной тревог.

.....

Чьей смерти прежде трепетал я,
Тех стариков уж нет давно;
Что в старом мире уважал я,
Давно все мной схоронено.
Ликуй же, смерть, в стране унылой,
Все в ней отжившее рази
И знамя жизни над могилой

На горах трупов водрузи!{...одно из стихотворений Добролюбова... – не совсем точная цитата из стих. «На смерть особы» (1857).}

Страшно думать о том, что «нет великого Патрокла {... „нет великого Патрокла...“ – См. примеч. 14 к с. 275.}, жив презрительный Терсит», но нет ничего страшного в том, что умирает «отжившее», заслоняющее свет. О, конечно, не все к лучшему в нашем, допустим, даже наилучшем из миров, много в нем «бессмысленного и жестокого», много ужасного, но в том виде, как он есть, обновление жизни, покупаемое ценою смерти «отжившего», не страшно. Дело не в возрасте, разумеется. Мы знаем светоносных стариков, смерть которых облекла бы нелицемерным трауром всю родную страну и даже далекие чужие страны. Но знаем и таких, которые своею жизнью сокращают сумму жизни на земле, жестоко и бессмысленно вырывая и давя ростки жизни; знаем и юных мерзавцев. И, конечно, не ужас и печаль должно вызывать их уничтожение.

Скажут: самому-то умирающему от этого не легче, он то все-таки жить хочет и всеми силами отпихивает от себя страшную картину своей смерти и похорон, которая с такою художественною отчетливостью рисовалась Сергею Петровичу (читатель найдет на странице 93). Раз возникшая жизнь упорно не сдается и до последней возможности, корчась от страданий, отстаивает свою форму, будь то форма

могучего льва или ничтожной бактерии, гордой пальмы или смиренной бледной травинки. Однако как раз человек составляет исключение из этого общего правила. Он может так испугаться жизни, что предпочтет ей смерть. И кто знает, может быть, тот зловерный старик, который застит людям солнце и с бессмысленною жестокостью давит и рвет ростки жизни, – может быть, и он ужаснулся бы своей жизни, если бы его осияло сознание. «Вот она – смерть-избавительница», – говорит измученный совестью волк в щедринской сказке { *говорит измученный совестью волк в щедринской сказке.* – Этими словами заканчивается сказка «Бедный волк» (1883). }. А тот, другой, светоносный старик, одна мысль о смерти которого страшит нас, – боится ли он ее в такой же мере, в какой люди боятся за него? Может быть, но, уж конечно, не по тем мотивам, по которым щедринский волк так радостно встретил смерть. Блажен тот, кто почему бы то ни было может сказать: «Ныне отпускаеши раба твоего с миром, яко видеста очи мои спасение», и жалко, страшно умирать тому, кто чего-нибудь не добрал от жизни, не доделал чего-нибудь такого, во что душу свою клал – чего именно, это уж от свойств души зависит: Бокль, умирая, скорбел о том, что его «История цивилизации» останется недописанной, Яков Иванович страдал за Николая Дмитриевича, потому что тот «большого шлема» не дождался, иной дома не достроил, детей в люди не успел вывести, не совершил подвига, к которому готовился, и проч., и проч. Никто не может с

полною уверенностью сказать, как он встретит смерть. Еще старик Монтень заметил { *Еще старик Монтень заметил..* – См.: Монтень М. Опыты. М, 1962. Т 1 С. 141. }, что можно путем опыта закалиться против физических страданий, против унижений и т. п., но в деле смерти все мы – неопытные новички. Однако, по чисто теоретическим соображениям, можно, кажется, утверждать, что смерть не страшна человеку, так или иначе доплывшему до своего берега, взявшему от жизни все, что он мог с нее взять по своим аппетитам и силам, и, напротив, ужасна в своей бессмысленной жестокости, когда косит то, что сознает свое право расти и цвести...

Г-н Андреев и к жизни, и к смерти подходит больше с этой последней стороны, со стороны их бессмысленной жестокости. «Жили-были» – это не только заглавие едва ли не лучшего из его рассказов, а и как бы итог всех их. Миллионы людей вызываются «равнодушной слепой силой из темных недр небытия» и опять в эти недра ввергаются. Какой смысл в этом возникновении и уничтожении? Вот, например, купец Кошеверов. Он на своем веку много ел, много любил женщин, много работал, но «все, что было в нем силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькой обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе». И вот он умирает. «Он не хотел жизни и не боялся смерти». Но когда смерть совсем близко подступила,

он обозлился: растравил злым намеком соседа по больнице – студента, которого давно не навещала любимая девушка; злобно открыл глаза другому соседу, добродушному, жизнерадостному дьякону, который думал, что он поправляется, тогда как ему оставалось жить несколько дней. Но когда дьякон заплакал, пораженный этой вестью, он размяк. На его вопрос, о чем дьякон плачет, смерти что ли боится, – тот ответил, что не смерти боится, а «солнышка жалко... Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии светит... За ми... За милую душу!» Тогда заплакал и купец. «Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидят, о яблоне „белый налив“, которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти».

Вы понимаете, что дьякону, которого радуют и воробей, и солнце, который с умилением вспоминает о четырехлетнем внуке, и о том, какая у него чудная яблоня в саду растет, и какой «сладостный» квас у него, который мечтает, выздоровев, к троице сходить, соборы осмотреть и пр., – вы понимаете, что ему жизнь действительно «мила» и расставаться с ней тяжело. И нам вчуже обидно за него, не успевшего, по воле бессмысленной судьбы, наглядеться на внука, вдоволь нарадоваться солнцу и т. д. Но купец Кошеверов, можно сказать, объелся жизнью, и если он злобствует и плачет, так вспоминая свою жизнь, в которой не было даже тех маленьких, но настоящих радостей, которые знакомы простоватому дьяко-

ну. Есть вещи гораздо страшнее смерти купца Кошеверова... Одну из них рассказывает г. Андреев под заглавием «Ангелочек».

Рассказ этот несколько испорчен неудачной фигурой мальчика, стоящей в центре. Но зато у этого рассказа удивительный по красоте и трагической значительности конец. Действующие лица: тринадцатилетний мальчик Саша, выгнанный из гимназии за безобразное поведение; его отец, когда-то учитель и земский статистик, давно опустившийся и ныне непьющий, потому что уже не может пить – болен и почти не встает с лежанки; мать – Феоктиста Петровна, пьяная и грубая баба, ненавидящая статистиков, книги и вообще все, что напоминает лучшее прошлое мужа. В доме ад. Отец «ежится от постоянного озноба и думает о несправедливости и ужасе человеческой жизни». Сашке временами хочется «перестать делать то, что называется жизнью», а в ожидании он всем грубит, дерзит, дерется и только в его отношениях к отцу из-под грубой оболочки сквозит что-то доброе. Надо сказать, что в грубости Сашки автор пересолил, это грубость ненастоящая, деланная. Как бы то ни было, в этом аду появляется ангел – «ангелочек». Когда-то отец Сашки давал уроки у неких Свечниковых и любил сестру хозяйки, но случился у них грех с дочерью квартирной хозяйки, Феоктистой Петровной, и он женился, а затем и та, любимая девушка, Софья Дмитриевна, вышла замуж. Но Свечниковы сохранили к нему добрые отношения, помогали ему и при-

гласили однажды Сашку к себе на елку. Сашка вел себя там, по обыкновению, безобразно, давая волю своей озлобленности, но вдруг увидел на елке то, «чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые». Это был ангелочек, искусно сделанный из воска. Сашка не понимал, что влечет его к этой игрушке и почему она так поразила его, но он не мог от нее оторваться и, чередуя грубость с унижением, выпросил ангелочка и тотчас же ушел домой. Там ждал его отец, и вот, при свете кухонной лампочки, отживший старик и почти не живший мальчик любят на ангелочка. Старику чудится в нем ласка любимой и навсегда потерянной для него женщины и весь тот светлый мир, в котором она живет; думы мальчика туманнее, неопределеннее, для него только «исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный, жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски». Долго любовались в каком-то благоговейном экстазе отец и сын ангелочком. Наконец легли спать, а ангелочек «был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафель; так его могли видеть оба, и Сашка, и отец», пока не заснули...

«Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять.

Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко ангелочка и, дернув усиками, побежал дальше...»

Автор не рассказал нам, что почувствовали отживший старик и не живший мальчик, когда, проснувшись, увидели, что случилось с ангелочком. Автор, заставивший Сергея Петровича пережить картину его собственных похорон, рассказавший много и других страшных вещей, затруднился изобразить муки этих людей, для которых на мгновение мелькнул в аду луч света, никогда не виданный мальчиком, давно забытый стариком. Не потому ли опустил здесь автор занавес, что пробуждение старика и мальчика должно оказаться страшнее всякой смерти? В самом деле, к страху смерти приплетается много посторонних примесей. Тут и страх физических страданий привходит, и страх воздаяния в загробном мире, и форма похоронного обряда действует (в странах, где трупы сожигаются, а не зарываются в землю, подвергаясь медленному и эстетически неприятному процессу

разложения, смерть имеет, конечно, совсем другой облик). И вот если отвлечь все эти осложняющие элементы, то на долю собственно уничтожения, прекращения бытия останется не так уж много, по крайней мере для людей, которые живут в аду и которых среди этого ада посетило «мимолетное виденье» идеала, чтобы в следующую минуту вновь погрузить в холод и мрак. Все равно, в чем состоит этот идеал, воплотился ли он в личности, или остался бесплотной идеей, или кристаллизовался в общественную форму, – под этого воскового ангелочка можно подвести любой вид идеала. Он умилил ожесточенное сердце мальчика и отогрел измученное сердце старика – и исчез, растаял... Страшнее этого ничего быть не может. И мне опять припоминается одна из сказок Щедрина, «Баран непомнящий». Баран этот, как известно, увидел какой-то загадочный, взволновавший его сон (потом оказалось, что он «вольного барина» видел), сон стал повторяться, а баран тосковать, и когда он наконец понял значение сна, «сильное, потрясающее бляенье вырвалось из его груди... Он весь ушел в созерцание. Перед тускнеющим взором его развернулась сладостная тайна его снов... Еще минута, и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю». У озлобленного Сашки и его жалкого отца, когда они, проснувшись, увидели бесформенную кучку воска вместо ангелочка, должно было вырваться нечто в роде потрясающего бляенья барана непомнящего. Г-н Андреев уклонился от изоб-

ражения этого ужаса. И я думаю, что он поступил правильно: в деле «страшного» есть границы, переступая которые художник безнужно терзает нервы читателя, и все-таки ни на волос не усиливая правды поэтического воспроизведения жизни. А г. Андрееву дорога правда и, может быть, ему самому недешево обходится...

Среди его житейски простых по своей фабуле рассказов есть один, сильно меня смущающий. Смущает он меня потому, что в нем сквозит какая-то опасность для дарования автора. Он называется «Ложь». Я не берусь передать его содержание. Это что-то вроде монолога душевнобольного, в котором беспорядочным вихрем носятся фантастические образы, переплетаясь с реальной действительностью. «Спасите меня, спасите!» – так оканчивается рассказ, слишком напомнив этим концом гоголевского Поприщина: «Матушка, спаси своего бедного сына!» Но подлинного сумасшествия во «Лжи» так же мало, как и в «Записках сумасшедшего». Задача рассказа состоит, по-видимому, исключительно в красивой передаче известного тяжелого настроения, отрешенного от каких бы то ни было определенных форм действительности, вызвавшей это настроение. В хаосе образов и картин, проносящихся перед читателем, явственно звучит только одно слово: «ложь, ложь, ложь». Любимая женщина лжет рассказчику, он требует правды, но она сама ее не знает; «освященные окна высокого дома» советуют ему «своим красным и синим языком» убить ее, потому что таким образом он

убьет ложь; но когда он хватается за нож, окна говорят ему: ты никогда не убьешь ее, потому что оружие в твоих руках такая же ложь, как ее поцелуи; однако он убивает ее, но ложь остается бессмертной; он хочет уйти туда, «куда она унесла правду и ложь и где „темно и страшно“, и там потребовать от нее правды; но сейчас же соображает, что и это ложь: „там тьма, там пустота веков и бесконечности, и там нет ее, и нет нигде“». «О, какое безумие быть человеком и искать правды! Какая боль!»

Я не знаю, что может значить эта «Ложь», кроме настроения отчаяния, вызванного невозможностью добиться правды. Может быть, лгущая женщина даже ни при чем в самом центре драмы (она и сама не знает правды о себе, и ей это страшно). Может быть, это – настроение художника, тщетно старающегося уловить и выразить словом истинный смысл жизни в бесконечной пестроте ее явлений. Недаром г. Андреев говорит в одном месте о «непередаваемых красках жизни и смерти» { ... *Андреев говорит в одном месте о «непередаваемых красках жизни и смерти».* – Михайловский не совсем точно цитирует следующую фразу из четвертой главы «Рассказа о Сергее Петровиче»: «И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро проволакивает перед ним самое жизнь и смерть в их непередаваемых красках». }. Да, слово оказывается часто слишком бедным для выражения мыслей и чувств, в которых и в самих так много противоречий, что и сам мыслящий и чувствующий

щий не всегда может различить свою правду. Но ведь художнику слова все равно приходится орудовать словом. Настроение, отрешенное от определенных форм действительности, его вызвавшей, и потому разрешающее себе облекаться в формы совсем неподходящие, заражает в последние годы довольно обширную область поэзии. Поэты ищут таких звуков, которые, хотя бы и лишены всякого логического смысла, давали в своих сочетаниях известное настроение. Это отрешенное, так сказать, чистое, беспримесное настроение надо предоставить музыке, а когда господа декаденты называют себя символистами, то они забывают, что символы в поэзии так же стары, как сама поэзия, да вот и восковой ангелочек символ, но смысл его совершенно ясен. Я не могу этого сказать о «Лжи». Этот странный рассказ представляется мне маленьким темным облаком на светлом будущем г. Андреева как художника. Вопрос в том, разрастется ли это облачко в мрачную тучу, которая весь горизонт закроет, или, набежав на мгновение, рассеется в пространстве.

Говоря о светлом будущем, предстоящем г. Андрееву как художнику или по крайней мере возможном для него ввиду его оригинального таланта, я не смущаюсь мрачным характером его книги о жизни и смерти, как можно бы было назвать сборник его рассказов. В слепой и равнодушной силе, рождающей и убивающей нас, нечего искать разума и справедливости – таков итог наблюдений и впечатлений нашего автора. Но человек может внести в то кольцо, которым смы-

каются жизнь и смерть, – и разум, и справедливость. Сумел же – по-своему, конечно – разрешить задачу жизни и смерти Сергей Петрович. А ведь он ничтожество. Для него было «закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокой, человеческой... Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, – работать для людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, и никогда не суждено ему было испытывать жгучее наслаждение борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром как святыня...»

Как видите, в этих нескольких строках намечен целый ряд мотивов – и не все мрачных – для новой книги о жизни и смерти, которую хочется поскорее прочитать. Лишь бы благополучно рассеялось облачко, имя которому «Ложь»...